

ВОСПОМИНАНИЯ ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Мое детство окончилось рано, пожалуй, осенью 1918 г., когда мы прямо с хутора поехали в Уфу, откуда начался наш крестный путь в эвакуацию. Мне было девять с половиной лет, брату Святославу, Славке, как дома его звали – 11, сестре Коте, названной Екатериной в честь Екатерины Михайловны Аристовой, 7 лет. Мы со Славкой были рыжие, веснушчатые в другую бабушку – мамину маму, Анну Васильевну Щеглову, урожденную Константинову. В детстве и юности она была ярко рыжая, так что, когда ей завязывали в косы зеленые ленты, в Консерватории, где она училась, ее дразнили «яичницей с луком». А нас кто-то из близких знакомых звал «рыжиками». Но на этом наше сходство с братом кончалось. Он был здоровым, крепким, в раннем детстве даже толстяком, с хорошим характером и очень рассудительный.

Я была физически очень слабой, худой. Все детские болезни, которыми мы по очереди хворали, приносила я, и вечные простуды, ангины, «инфлюэнции» (грипп). То болела у меня голова, то руки, то ноги. И скарлатина, и корь не миновали нас, и коклюш, отвратительный, нудный, изматывающий коклюш, от которого умерла наша маленькая сестренка Аня. Ей было несколько месяцев, и она не могла отхаркивать мокроту.

А Котю дома никогда не звали Катей. Кто-то назвал ее котом, так и пошло – кот, Котя. Она была небольшого роста, с пухлыми щечками, светло-пепельными волосами и серо-голубыми глазами. Она была веселой, отчаянной, смелой. В 6-7 лет лазила на деревья выше, чем Славка, он был не такой ловкий, немножечко увалень. Она походила скорее на мальчишку и сама хотела быть мальчишкой, что не мешало ей, между прочим, вертеться перед большим зеркалом в гостиной со словами: «Я хочу быть элегантной». Она на все реагировала быстро и эмоционально. Ко мне, к моей слабости болезненности она относилась презрительно.

Рядом с детской была комната бабушки и тети. Мне помнится, что двери между комнатами не было, а был только дверной проем. По утрам, босиком, в одних рубашонках мы мчались в их комнату, забирались на постель к тете, причем, не обходилось без потасовок – каждый хотел быть рядом с ней, пришлось устанавливать очередность.

Когда мы были маленькие, мы звали бабушку – баба Аня, а тетю – тетя Вера. А в последний год нашего житья на хуторе, Котька придумала и стала звать бабушку сначала – Бабаша, а потом просто Баша, а тетю – Веша. А за ней и мы. Так эти имена и остались на всю жизнь.

А вообще-то мы были дружные, и никаких других друзей у нас не было. Конечно, пошли бы учиться, и появились бы друзья и подруги. А пока в наших играх часто принимал участие дядя — Бориска, как мы звали его. Был он только на 7 лет старше Славки. Был как старший брат. Летом мы все вместе жили на хуторе в Уфимской губернии, а зимой часто, когда наши родители уходили куда-нибудь вечером, главным образом на Заводскую, 22, к бабушке, Бориска приходил к нам. Он любил смешить нас во время ужина. Мы хохотали так, что у Славки из носа текло молоко. Он рисовал всяких леших и чертенят с рожками и длинными хвостами и пугал ими нас. Играл со Славкой в войну оловянными солдатиками, которых у брата было полно. Очень любили играть в «козу» или в «пятнашки», по-разному звали эту игру. Один был козой и должен был поймать, «запятнать» кого-нибудь. Играть было вольготно. Из передней шел длинный коридор, в конце его была дверь в мамин будуар, а оттуда в гостиную, из которой был ход в коридор. Получался большой круг, по которому мы, визжа и крича, бегали до одурения. Кроме Бориски в игре в игру принимала участие Лина — наша воспитательница, она была немногим старше Бориски, а иногда приходила и горничная Дуня, тоже молоденькая. Однажды эта игра окончилась печально — кто-то налетел и уронил подставку с цветком, горшок разбился. Возможно, кому-то за излишнюю резвость и попало, но шума по этому поводу я не помню. Вообще ни на нас, ни на прислугу у нас дома никогда не кричали.

Каждое воскресенье по очереди то мы всей семьей ходили к бабушке обедать, то наши родные приходили к нам. Но бывало, что родители уходили куда-нибудь без нас. Я не любила этого. Мне всегда казалось, что должно что-то случиться, и я молила Бога, чтобы они поскорее вернулись. Помню себя в таком настроении в темной гостиной перед большим зеркалом — от пола почти до потолка. Почему там — не знаю. Точно предчувствие того, что должно было случиться. Помню такой случай. Было это зимой или ранней весной. Мы как всегда гуляли с Линой на Алексеевской площади. Нас встретила тетя, чтобы забрать меня, она хотела познакомить меня со своей ученицей Лелей Яковлевой, которую она, также, как и меня готовила в гимназию. Лина со Славкой и Котей пошли домой, а мы повернули в другую сторону. Уходя, я оглянулась, и щемящее чувство охватило меня, не мысль конкретная, которую можно выразить словами, а внутреннее ощущение, память о котором жива до сих пор, как будто говорило мне, что я их больше не увижу, что мы расстанемся навсегда.

А Об этом времени воспоминания отрывочные. После провозглашения Советской власти в Самаре суд, в котором служил отец, по-видимому, не работал. Была организована не то артель, не то кооператив, одним словом, какое-то мелкое предприятие по изготовлению деревянных игрушек. Помню, у меня была корова, у Славки лошадь, а у Коти еще какое-то домашнее животное. Папа, как будто, возглавлял это, а Бориска там работал. Он хорошо рисовал. Вот он и занимался рисованием разных животных на фанере. Потом их выпиливали, раскрашивали, прикрепляли к подставке, и игрушка была готова. Не знаю, какой доход получали за это занятие все работающие там, и долго ли просуществовало это предприятие. Наверное, пока «белые» не заняли Самару. Суд снова начал работать. Но стал он называться военно-окружным, а был еще военно-полевой. Все судейские стали ходить в военной форме. Папе она не шла. Он был сугубо штатским. В городе появилось много чешских офицеров

Помню наш последний приезд на хутор. (Хутор Аби-булак находился в Уфимской губернии, недалеко от станции Раевка). Лошадей, как обычно, на станцию Раевка не прислали. Кто был с нами из взрослых кроме тети и Лины — не помню. Пришлось нанять тарантас. Погрузили на него вещи, сел кто-то из взрослых и Котя, а мы — тетя, Лина, Славка и я — пошли пешком. Идти надо было верст 15. С разговорами, остановками так и дошли. Не помню, чтоб это лето чем-нибудь отличалось. К осени стали говорить об эвакуации. Считали, что уедем месяца на 2-3, поэтому и вещей брали мало. Простились с тетей, бабушкой, Борей. Он тоже уезжал. В каком-то городе мы с ним встретились, а потом он уехал один на Дальний Восток и вернулся в Самару только в 1924 г.

И вот — Уфа, первый город эвакуации. Уфа мне запомнилась двумя малозначительными эпизодами. Мама посылала меня и, должно быть, не один раз за ливерной колбасой, которую мы все очень любили. Продавалась она не закрученная, как сейчас, а прямыми палками, которыми мне очень удобно было стучать в окно, до которого я не доставала. Это запечатлелось в памяти. И еще, поскольку мы уезжали ненадолго и брали мало вещей, естественно, игрушек с нами не было, кроме трех мишек. А как хотелось куклу. В Самаре осталась кукла-парижанка, еще тетина, которую она мне подарила вместе с ее огромным приданым. Остались еще куклы и много всяких игрушек и игр. А вот с собой у нас ничего не было. Помню, как мы, заходя в игрушечный магазин, прилипали к прилавку с игрушками, а я не спускала глаз с кукол. Ах, как мне хотелось поиграть с одной из них. Но, несмотря на горячее желание поиграть в игрушки, игры, мы никогда не просили родителей купить

нам что-нибудь. Мы ждали возвращения домой, а уезжали все дальше и дальше. Сколько прожили в Уфе — не помню.

Следующий город был Челябинск. Помню замерзшую реку, по берегу которой мы проходили. Берег был очень высокий. В Челябинске я должна была пойти учиться. Об учении ничего в памяти не сохранилось, ни лиц одноклассниц, ни преподавателей, ни здания. Ничего, кроме того, что для гимназии мама сшила мне из папиных брюк юбочку и из чего-то — серую кофточку. Это была моя «школьная форма». И еще — невеселые воспоминания — не давалась мне арифметика. Мама билась, мне объясняя, потом брался папа. С трудом решив задачу, я все равно ничего не понимала. А вот в старших классах я очень любила алгебру и была первой среди девочек.

У Славки в гимназии были большие неприятности во всех городах. В Самаре он начал учиться в Коммерческом училище, программы расходились, а преподаватели не хотели ни с чем считаться — ему ставили плохие оценки, делали замечания, выговаривали за плохой ответ, не желая ничего слушать. Он приходил домой разъяренный, не мог спокойно разговаривать, швырял стулья. Тогда папа уводил его к себе, закрывал двери и говорил с ним. Славка успокаивался.

Котя пошла учиться в Тюмени, куда мы приехали из Челябинска. В Тюмени мы прожили дольше всего, конец 18-го года и зиму 19-го. Мы жили в большом здании. Помню, был зал, где стоял рояль, и сцена. Я продолжала мучиться с арифметикой. У Коти были иные проблемы. На нее жаловались, что она вертится, невнимательна, мешает другим. А ей просто было скучно на уроках. Девочки учили только буквы и слоги, а она уже читала и писала по-русски и по-французски, знала стихотворения наизусть. Но ее любили и относились к ней очень хорошо. Однажды я пошла за ней, так как часы наших занятий не совпадали. Я пришла, когда почти все разошлись. Я застала ее в раздевалке. Она стояла уже одетая в пальто, а преподавательница, согнувшись до пола, одевала ей ботинки.

В том, что мы знали французский, ничего удивительного не было, поскольку последние два-три года у нас жила гувернантка француженка Mademoiselle. Ну а мы закрепляли Котины знания — играли в школу. Мы со Славкой были учителями, а наши ученики были вырезаны из газеты. Отвечала за них Котя. Мы заставляли ее и читать, и писать по-настоящему. Таким образом, она знала гораздо больше того, что изучали в школе.

В Тюмени мама очень тосковала по родным. На Рождество судейские устраивали вечер, и мама принимала участие в приготовлении всякого печенья. На Рождественских каникулах Славка писал дневник.

Листочек дневника сохранился. Там описаны праздничные дни, что делали каждый день. «В Сочельник были у знакомых на елке, а 26 декабря елка была у нас, вечером ее зажгли в первый раз» Пишет о том, что елочные игрушки делали сами.

В Тюмени мы прожили и день моего рождения. 21 февраля (по старому стилю) 1919 года. Мне исполнилось 10 лет. В этот день мы поставили детскую пьесу из китайской жизни, найденную в какой-то старой книге. Мандарина Ап-чхи-ой-ой играла я, принцессу — Котя, а не то слугу, не то военачальника — Славка. Были гости.

Не помню точно, когда мы двинулись из Тюмени. Лето мы проводили на колесах. Часто останавливались в поле, и тогда все высыпали из вагонов. Мы - ребята — бегали по полю. И вот однажды произошел случай, который темным пятном лег на мою совесть. Это было под Омском. Поезд стоял у какой-то станции, недалеко от кладбища. Мы с Котей играли в песок, намочив его, что-то лепили и, конечно, вывозили и руки, и платье. Выговорив нам за это, нас переодели. Мы опять начали играть и снова оказались грязными и мокрыми. И тут мама нас отшлепала. Этого я вынести не могла — позвав с собой сестренку, я ушла. Это не было бы так страшно и серьезно, если бы в это время не был дан сигнал к отправлению эшелона. Папе пришлось просить начальника поезда задержать отправку. Почти весь состав суда бросился на поиски. Скоро нас нашли — мы были недалеко, на окраине кладбища. Помнится, нам попало, но я в этот раз прощения не просила.

Ранняя осень 1919 года. Мы живем в Петропавловске. Атмосфера тяжелая, красные приближались. Помню большую комнату и кровать сестренки. Она захворала брюшным тифом. Болезнь протекала трудно, но наступил кризис — ей стало лучше. Но тут молочница принесла молоко немного жирнее обычного. Вновь начался понос. Положение становилось катастрофическим. Вот-вот должны были опять ехать. Папа подал заявление об уходе из суда — он не мог смириться с тем, что в суде введено применение смертной казни. Возможно, переодевшись в штатское, папе удалось бы скрыться где-нибудь с семьей. Но это было рискованно — могли выдать. Оставлять одну маму с нами он не мог. А еще, и, пожалуй, это было главное — председатель суда, бросив суд на папу, сумел скрыться. А папа, человек долга, не считал возможным оставить своих бослуживцев на произвол судьбы. Решили ехать. Это было бегство. С одной стороны города с боями входили войска красных. С другой, с запасных путей, уходил наш эшелон. Помню - темень, сырость, холод. Мы с братом едем на какой-то повозке с судейскими, папу с мамой и Катю везут отдельно. Долго плутали, пока добирались до эшелона. Бедная Котя мучилась всю дорогу. Завернутая в папину медвежью

шубу, она металась, задыхалась, хотела пить. Когда в эшелоне ее раскрыли, губы были искусаны до крови.

И начался наш последний этап бегства. Каждый день кто-нибудь приносил сведения, что «красные близко, они в двадцати километрах, в пятнадцати» Наш эшелон уходил все дальше вглубь Сибири. На каждой остановке папа приводил какого-нибудь доктора, найденного им на станции. Но что они могли сделать, как помочь умирающему ребенку в этом удирающем от врага поезде. Последний врач, которого привел папа, на вопрос: «Можно ли дать ей рисовый отвар», ответил: «Можно, сейчас ей все можно, все, что она захочет». Но она уже ничего не хотела. Мчался поезд. Постукивали колеса, отсчитывая последние часы и минуты нашей маленькой, веселой, озорной когда-то сестренки.

Котя умерла 26 октября во вторник, в день Казанской Божьей Матери 1919 г., в 6 часов вечера. Помню — нары, мы со Славкой в углу. Мама позвала папу. Он сейчас же влез на нары, и, что у меня отпечаталось в памяти, прежде чем повернуться к маме, он аккуратно поставил сапоги на место. Ни громких стенаний, ни рыданий я не помню. Родители стойко перенесли этот первый сокрушительный удар по нашей семье.

В эшелоне нашелся плотник, который сбил из неструганых досок гроб. Сестренку отпевали днем, на насыпи около нашей теплушки стоял гроб. Славка не выходил, он уже разбалчивался своей страшной, смертельной болезнью, о которой еще никто на подозревал. Мы с папой ходили по склону насыпи в поисках каких-нибудь растений, которые могли бы заменить цветы. Собрали веточки колючек, положили их в гроб. Также положили маленькие погоны поручика, суконные, с вышитыми звездочками, как полагается. Это кто-то из судейских дам выполнил обещание, данное Коте еще при жизни, смастерить погоны «поючика», как говорила Котя. Ее похоронили на станции Куломзино, недалеко от Омска. Рядом с ней похоронен врач. Вот все, что известно о месте ее могилы. Нас со Славкой на кладбище не брали. Кто-то во время отпевания сказал: «Вот еще одна жертва революции».

«Ты росла озорной и веселой — любимица всей семьи.

И кто мог подумать, что скоро в Сибири погибнешь ты.

Тебе было восемь, лишь восемь ребячих лет.

Но в ту проклятую осень померкнул твой ясный свет.

Ты скончалась в теплушке, на нарах, под размеренный рокот колес.

И печальную весть о кончине ветер по полю разнес.

Ты лежала в гробу из неструганных досок. Вместо свежих душистых цветов

На груди, у лица — только горстка сухих стебельков.

Тебя, торопясь, отпевали, на кладбище быстро свезли.

И, падая, скорбно шуршали комья подмерзшей земли.

Тебя хоронили поспешно — нас ждал эшелон на пути.

И горе свое безутешное с собою мы будем везти

В начале ноября эшелон остановился на станции Чулым, верстах в 120 от Новониколаевска (теперь Новосибирск), там высадились часть судейских с детьми. Остальные с папой во главе отправлялись пешком до Томска. Мама почему-то там не осталась, а слезла через 20 верст на разъезде Кабинетное, недалеко от которого находился поселок Хоменкино. Почему мама не сошла, где сошли другие, где она была бы все-таки не одна, где на станции был какой-никакой медпункт, а протащилась на поезде еще 20 верст, навстречу своей неминуемой смерти! На этом злополучном разъезде мы и расстались с папой.

Прощание я не помню. Конечно, оно было не легким. Но я не помню маму, плачущей в то время. Можно представить, в каком состоянии был папа, расставаясь с нами, оставляя маму с двумя детьми, только что похоронившую любимую дочку и с уже заболевшим сыном. Он ушел в тьму, ушел навсегда.

Хорошо, что с нами была Лина. Эта девушка достойна глубокого уважения, сохранив нас и привезя в Самару к тете и бабушке.

Были уже сумерки, когда мы приехали в поселок. Остановившись в первой попавшейся избе, которая пустила нас. В углу у двери мы провели ночь. Злой рок преследовал нас. Во-первых, Лина, пока еще поезд стоял на разъезде, забралась в теплушку, где были вещи, и уже на ходу поезда выкинула корзину, чемоданы, в которых лежали наиболее дорогие и нужные вещи. Она не знала, что мама однажды переложила их и почему-то Лине об этом не сказала. Наверное считала, что сходить с поезда будет нормально, а может быть, поглощенная болезнью и смертью сестры, уже ни о чем не думала. Хорошо, что, кажется, что-то теплое осталось. Вторым ударом было то, что часть вещей, а главное, съедобные запасы хозяева предложили сложить в чулан, сарай или еще куда-то вне дома. К утру все обчистили. Главное, унесли все съестное. Помню, как утром, увидев все это, мама рыдала, обнимая нас.

Должно быть, в этот же день мы переехали в другую избу. Помню сени, дверь в избу, как войдешь, направо от двери, у стены — наш угол, отгороженный байковым одеялом. Прямо по стенке от двери до угла избы была постель моя и брата. Из чего были сделаны все постели, не помню. Главным образом наши корзина, чемоданы да доски. Должно быть, и матрацев по-настоящему не было. Мама и Лина спали друг против друга. Лина по стене перпендикулярно к нам, а мама — напротив.

Ей конечно было хуже всего. Ее ложе прикрывалось только байковым одеялом. Когда открывалась дверь, ее пронизывало морозным воздухом. Когда стоящая посреди избы «буржуйка» раскалялась докрасна, маму обдавало жаром. Хозяева мало обращали на нас внимания, хозяин все время пил, ругался с женой. Они ежедневно собирались разводиться, потом мирились, а потом начиналось все сначала.

На что мы жили, на что питались — не знаю. Помнится, у мамы был запас лекарств, и она помогала всем, кто приходил за помощью, за это, наверно, ей что-то давали. Лина часто уезжала в села, меняла вещи, лечила, шила. Она воспитывалась в приюте, а там воспитанниц учили шить. Я не помню, чтобы мы со Славкой были голодны. Уж миску кислых щей со свиной и жаренную картошку на сале мы имели.

Через поселок проходили солдаты — «белые», «красные», здоровые, больные, но все, должно быть, усталые и измученные. Отвоевавшие и, полные злобы и ненависти, шедшие воевать до конца. Помню вызывающий страх и отчаяние исступленный крик одного такого, обращенный к нам: «Буржуи! Проклятые! Потопить вас всех надо было в Белой. Потопить!» Они все шли — туда и оттуда. И случилось так, что в избу зашел солдат и свалился в сыпняке. Мама, конечно, принялась ухаживать. А он метался в жару и все просил ее не выбрасывать его на улицу, на мороз. Мама отвечала, что она не хозяйка, сама пришлая, живет в углу, пусть он просит об этом хозяев. А им в своих междоусобицах не было дела ни до кого. Живешь — и живи. Ухаживала же за ним мама. Солдат выздоровел. Чей он был? Белый? Красный? Неизвестно. Но я поминаю его с благодарностью. Он выжил, а мама, ухаживающая за ним, заразилась и умерла. Захворав, мама очень беспокоилась, что будет с нами, если ее не будет. Она была мало приспособлена к жизни, не пробивная, как сказали бы теперь. Она могла только ухаживать. Она часто говорила Лине, что пусть она лучше умрет, так как Лина скорее, чем она сумеет нас сберечь и отвезти в Самару. В каких нравственных страданиях она умирала, оставила нас, одному богу известно.

Ей стало лучше, но случилось непредвиденное — от жестяной трубы «буржуйки», стоявшей недалеко от маминой постели, загорелась крыша, в потолке наружу образовалась дыра. Была вторая половина января. Сильные морозы. Времени, пока заделывалась эта дыра, оказалось недостаточным, чтобы мама простудилась и схватила воспаление легких. Захворав, мама просила ухажившего солдата, которого она выходила, отнести письмо кому-то из судейских с просьбой прислать доктора и не оставлять нас. Солдат шел в Чулым. И он передал это письмо. Спасибо ему за это. Приезжал фельдшер, врача там не оказалось. Правда, толку от его приезда было мало. Ее истощенный и ослабленный от всего переживаемого

организм не выдержал. Она умерла 26 января 1920 года в 8 ч. вечера. Но все-таки приезд фельдшера, возможно, и какое-то письмо, записка ли от тех, кому она писала, принесли ей какое-то успокоение в последние минуты. Я не помню, ни приезда фельдшера, ни ее смерти. Сидя около мамы, ухаживая за ней, когда Лина уходила куда-то, я сама заразилась и слегла. Сыпняк у меня был тяжелый. С высокой температурой. Я долго была без сознания. Не сознавала, что было вокруг меня. Помню только как я лезла на стену, а Лина хватала меня и укладывала на постель. Во время моей болезни она поменялась местами со Славкой. Он перешел на ее место напротив мамы, а Лина перешла на его место рядом со мной. Сколько я хворала, не знаю. Придя в себя, я конечно позвала маму. Лина сказала мне, что мама ушла на первую квартиру, так как здесь ей было неудобно и холодно. На какое-то время я поверила, но увидев мамино зимнее пальто, стала приставать с расспросами — в чем же мама ушла. Лина опять мне что-то наговорила, но я не успокаивалась, вот на глаза попался мамин теплый платок, — почему она его оставила? Я обращала внимание на каждую мамину вещь и приставала с расспросами к Лине и Славке. Он с трудом отвечал — у него болела шея, на которой был нарыв, ему было трудно и больно говорить. И Лина не велела мне его расспрашивать. Разрешилось все очень просто. Как-то к хозяйке в гости пришли две старушки, побеседовав с хозяйкой, они, усевшись напротив нас, запричитали: «Бедные вы сиротки! Что-то с вами будет И куда вы денетесь». Все в этом роде. Я конечно насторожилась и попробовала даже возражать, что мы-то не сиротки А когда они ушли, бросилась к Лине с расспросами. Тогда она и рассказала мне всю правду. Конечно, я безутешно, горько плакала. А Славка, тоже плача, говорил мне, как ему было тяжело, когда мама умирала, что он лежал близко напротив нее и ничем не мог ей помочь, ничего не мог сделать. И что он молился, чтобы тоже умереть.

Он был тяжело болен и сознавал это. Он перенес, захворав еще в поезде, какой-то тиф, брюшной ли, возвратный или еще какой, но после этой болезни у него начались осложнения — нарывы на шее. Уже взрослой от докторов я узнала, что после какого-то тифа бывает осложнение на лимфатические железы туберкулезного характера. Возможно, если бы болезнь захватить вовремя и лечить как следует, можно было бы остановить ее развитие. Но некому было лечить и нечем. Единственное, что я помню, это лепешки из муки с медом, которые прикладывались к ранам. За несколько месяцев он страшно похудел, из здорового упитанного мальчика превратился в скелет. Болезнь развивалась, он ужасно кашлял, отхаркивая мокроту. Что он серьезно и даже, может быть, неизлечимо болен, он понимал и нередко с тоской говорил мне: «Почему я не умер,

когда умирала мама, я молился об этом. А теперь, когда мы вернемся домой, мне, может быть, станет лучше, я буду учиться, стану студентом и буду умирать. Лучше мне было умереть с мамой». В таком настроении его поддерживали сердобольные соседки, охающие и ахающие, что у него чахотка, и что он не жилец на этом свете. Удивительно, как я не заразилась от него. Мы часто ели из одной миски, я доедала за ним, что он не доедал. Мыла посуду, убирала за ним, выносила мокроту, меняла песок в миске, куда он отхаркивал ее.

Чем мы занимались целые дни — не помню. Читать было нечего, единственной книгой, каким-то образом оказавшейся у нас, был одно-томник Пушкина. Это была большого формата толстая книга в желтом переплете. Эту книгу я читала и перечитывала вплоть до писем Пушкина жене, напечатанных в конце. Как-то играли со Славкой: Шили из лоскутков кукол. Ко дню моего рождения он сшил мне куклу мальчика, которого мы почему-то назвали Фомушкой. Иногда ссорились, я даже шлепала его, а потом горько плакала, негодуя на себя и жалея его.

Еще при жизни мамы я как-то вышла на улицу, постояла около дома, походила и вернулась домой. Никто из ребят не подошел, не заговорил, не позвал играть. В конце двора, вернее даже за изгородью, росли три березы. Во время маминой болезни и после я часто, когда во дворе никого не было, должно быть ближе к сумеркам приходила к этим березам и, став на колени прямо в снег, плакала и молилась.

Так прожили мы зиму. Как только стало возможным, Лина послала в Самару тете письмо. В то время тетя училась и работала в университете. Университет, мне кажется, был переведен из Петрограда, во всяком случае, профессора были оттуда. К тете очень хорошо относились, знали про нас и сочувствовали ей. И когда тетя получила письмо, она конечно пошла посоветоваться с наиболее близкими ей людьми. Встал вопрос — как нас вывезти. И тут предложила свои услуги ассистентка ректора М.А.Александрова. Тетя сама поехать не могла и по работе, и не могла оставить бабушку. М.А. предложила — она поедет в Новосибирск (Ново-николаевск) в командировку, а на обратном пути, предварительно договорившись с начальником поезда, захватит нас. Так и решили. Тетя написала нам об этом письмо. Лина встретила М.А., когда та ехала еще туда. М.А. передала ей записку нам, несколько детских книжек и маленький венок из искусственных цветов, сделанный тетей на могилу маме.

Накануне отъезда мы поспорили со Славкой. Каждый из нас хотел пойти на кладбище, а почему-то кто-то должен был остаться дома. Славка уговаривал меня пустить его. «Ты здоровая, можешь и потом как-нибудь приехать, а я уже не смогу». К счастью, наш спор как-то благопо-

лучно разрешился, и мы оба ходили прощаться с маминой могилой. Как Славка добирался до кладбища — не помню. Пешком он дойти не мог. В день отъезда мы прибыли на разъезд задолго до прихода поезда. Сидели под открытым небом на вещах. Наконец, поезд подошел. Мы быстро погрузились опять в теплушку на верхние нары. Вагон, в котором мы были, вез раненых. По-видимому, это были уже выздоравливающие. Для меня эти несколько дней езды были мучительны. Отсутствие туалета приносило мне страдания. Слава был мальчик, пригом тяжело больной, он вызывал сострадание, сочувствие и понимание. Я же была не маленькая девочка, довольно стеснительная и застенчивая. Станционные уборные отгаликивали своей грязью и зловонием. Нередко, так и не воспользовавшись этим жутким заведением, я ночью плакала и кусала подушку от боли.

Прибыли мы в Самару ночью. Кто-то помог выгрузиться и принести вещи на площадь перед вокзалом. М.А. пешком пошла в университет за подводой, а мы остались сидеть на вещах.

Через какое-то время на подводе приехала М.А. Конюх, белорус Иван Кржосек, оказался симпатичным, понимающим человеком. Мы поехали в университет — угол Красноармейской и Чапаевской. Всю дорогу Славка стонал. Дороги были не асфальтовые, как теперь, а мощенные булыжниками. И езда по ним причиняла боль его бедным костям. В университете нас провели в комнату, по-видимому, чей-то кабинет. Там были диван, мягкие кресла. На них нас и уложили. Утром нас напоили чаем, у ректора Д.И. Нечаева, который жил при университете. Придя на работу в университет, и, узнав о нашем приезде, тетя бросилась к нам. Она, конечно, пришла в ужас от Славкиного вида, но нам этого не показала. На чем-то мы приехали домой. Знаю, что тетя, придя немного раньше нас, подготовила бабушку к встрече со Славкой. И вот мы дома. Не у себя дома, но все-таки дома. Наша же квартира Аристовых на Дворянской (Куйбышевской) улице была разгромлена, растащена, уничтожена. Рояль был конфискован властями, но после возвращен тете, как моей опекунше. Одно зеркало в рост человека в витой деревянной раме, по чьим-то словам, попало в музей, о дальнейшей его судьбе не знаю. Другое, почти до потолка, стоявшее в гостиной, перед которым красовалась маленькая Катя, было разбито на куски, каждому хотелось ухватить хоть маленький осколок. Вся обстановка — мебель, книги, картины, игрушки, столовое и постельное белье, одежда, посуда, одним словом, все — было растащено, похищено. Тете удалось спасти оттуда немного — зеркало в фарфоровой раме (мамино приданое), несколько дорогих папиных книг о птицах и животных, и мою куклу, французенку, которую подарила

мне тетья, но играть в нее я уже разучилась, не могла. Иногда раздевала и укладывала спать, а утром одевала или переодевала ее в разные платья.

Прошла неделя после нашего приезда. Почему-то в памяти у меня — что была среда, 7-го июня. У Славки с утра было хорошее настроение. Он сидел на бабушкиной кровати, сначала промолот на кофейной мельнице сухари, потом занимался тем, что давал подзатыльник кукле, которую я посадила к нему на кровать, и весело смеялся. Когда она тыкалась вниз головой, а я возмущалась, который раз усаживая ее обратно. Потом я ушла. Выйдя из туалета, я столкнулась с тетей и ее бывшей сослуживицей по гимназии, педагогом Антониной Елеазаровной. Мы были в маленьком коридорчике перед кухней, когда услышали бабушкин зов. Она прибежала из комнат с криком: «Скорее, скорее, Славiku плохо!» Когда мы прибежали, он лежал, откинувшись на подушку. Все было кончено. А.Е. побежала за доктором, недалеко от нас жил ее брат, врач. Он пришел и констатировал смерть от разрыва сердца. Сейчас сказали бы — инфаркт. Он не дожил, примерно, двух месяцев до 13 лет. Стоя у его гроба, когда никого не было, я молилась о том, чтобы все умерли, я не хотела больше никого терять, не хотела разъединяться.

Его хоронили на кладбище женского монастыря, где был похоронен дедушка. Рядом с ним и вырыли могилу. Кладбище это находилось по спуску улицы Вилоновской от улицы Фрунзе.

Был ясный солнечный день. Было очень жарко и я сошла с мостовой, по которой ехал катафалк на тротуар, в тень от домов. Путь шел сначала по Куйбышевской (Дворянской), потом по Фрунзе (Саратовской). За катафалком шло немного людей, среди них было несколько человек из университета, что вызывало у некоторых прохожих недоумение — кого хоронят? Уж не университетского ли кого?

Теперь на месте кладбища — «студенческий городок» — так называется это место. А в те годы я нередко ходила туда с 3-х-летним Юрой Бородиным.*

В.Н.Бородин, отец Юры, работал в университете по хозяйственной части. И жили они временно в здании университета. Тетя работала в этом же здании в подвальном помещении, где у нее находилась библиотека, и я к ней часто приходила. Заглядывала к Бородиным, брала Юру и ходила с ним гулять.

Вот и все воспоминания о тех далеких тяжелых годах.

** Юра Бородин погиб в первые месяцы Великой Отечественной войны.*